



Т. В. РОЗАНОВА

Воспоминания об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье

Глава 1

Свое детство я плохо помню.

Вспоминаются какие-то отдельные отрывки из нашей семейной жизни, но один вечер я живо помню. Горит электрический свет, мы все сидим в столовой за общим столом. На темно-коричневых обоях, на бордовых шнурах, в черных рамах, спускаются картины античного мира. Здесь и «Афинская школа» Рафаэля, и «Аполлон», и «Венера Милосская», и «Гермес». Куда девались потом эти картины — я не знаю, но я очень хорошо их помню. Где-то внизу, сбоку, висит и портрет Н. Н. Страхова¹. Папа рассказывает о нем, о его тяжелой болезни (он умер от рака десен), и с каким терпением и мужеством он уходил из жизни. Какой это был, вообще, замечательный человек! Отец очень грустен и сидит понуро, опустив голову.

Первый раз я слышу слово «смерть». Я теряюсь, и сердце мое сжимается пронзительной жалостью к моему умершему крестному отцу.

Что это? То ли отец вспоминает день смерти Страхова, то ли это был самый день смерти, — не знаю! Если день смерти, то это значит, мне — один год, так как Н. Н. Страхов был моим крестным отцом, а я родилась в 1895 году², а через год Страхов умер. Это очень удивительно, этот случай я помню очень ярко, как будто это было на днях.

Нет, наверное, это было позже, скорее всего в 1904 году, когда мы уже жили на Шпалерной ул<ице>³, но точно не уверена, а может, оба случая соединились в одно и оставили острую память о себе, — тем более, что отец часто вспоминал Страхова с любовью, нежностью и глубоким уважением.

Вспоминается из раннего детства наша поездка в Аренсбург⁴, на дачу. Мы ехали на пароходе по Балтийскому морю, помню бурю на море, серо-зеленые волны, ударяющиеся в окна каюты, мне страшно, и я молюсь в душе Богу, чтобы миновала опасность.

В Риге помню благотворительный базар, помню немецких надменных баронесс, которые все явились в ситцевых платьях, а папа говорил: «Посмотрите, как они бедно оделись, это они выражают презрение к русским». Нас было тогда у родителей трое детей⁵ и ездили мы с бонной Эммочкой, которую мои родители очень почитали и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась. Ее милый портрет многие годы висел у нас в детской, в плюшевой рамочке. В настоящее время он куда-то затерялся.

Эта поездка мне очень запомнилась, так как мама там впервые серьезно заболела сердцем. И был это 1900 год, который удалось мне восстановить по папиной записи.

Затем помню себя маленькой в детской, стою около корзины с игрушками и что-то мне очень тоскливо, капризничаю, вдали сидит мама, кто-то стоит, но все это в тумане. Потом вспоминаю, как мы в Петербурге переезжали на другую квартиру, должно быть, на Звенигородскую улицу⁶, — тянется шесть или семь подвод, на одной из них восседает торжественно толстая няня Паша; уже должна родиться третья сестренка Варя.

Еще помню, как мы сидим с мамой в детской, на низеньких стульчиках, а мама показывает занимательные картинки из Библии (иллюстрации Доре, как я теперь понимаю) и рассказывает нам чудесные библейские истории (все картины были в черном цвете). — Вот «Изгнание Адама и Евы из рая», «Авель и Каин», «Приношение Авраамом в жертву своего сына Исаака». Мой ужас. Мама чуть не плача признается: «Бога я очень люблю, но вас, моих маленьких деток я не могла бы принести в жертву». И как я маме за это благодарна, как я ее люблю, и как она нас любит!

Помню картину: «Бегство из Содомы семьи Лота», его жену, превратившуюся в соляной столб, «Дочь фараона, склонившуюся над младенцем Моисеем», «Пустыню», «Медного змея» и толпу евреев около него.

Эти картины на всю жизнь запечатлелись в моей памяти и жалостные, горячие рассказы моей матери.

В каком году — не помню, кажется, в 1903⁷ — мы ездили летом в Саров. За год до нашей поездки были открыты мощи преподобного Серафима Саровского; еще стояли деревянная по-

золоченная арка, воздвигнутая в честь приезда государя с семьей на открытие мощей.

Мама задумала эту поездку, тревожась за мое слабое здоровье и крайнюю нервность. Мы поехали вчетвером: папа, мама, я и брат Вася. Ехали до Тамбова поездом, а оттуда до Сарова — лошадьми. Перед этим был дождь, дорога была размыта, лошади с трудом шли, кругом стояли чудесные сосновые леса. Приехав в Саров и остановившись в гостинице, мы пошли в храм, где стояли мощи преподобного Серафима Саровского и шли молебны. Мама повела меня в исповедальню к старенькому священнику-монаху и сказала мне, что я должна на все перечисленные грехи говорить — грешна. Так как перечисление грехов было страшное, и я многих слов совсем не понимала, монах взглянул на меня недоуменно, но потом, видно, понял, что мать моя, желая, чтобы я искренне исповедалась и не пропустила греха, так меня научила. После исповеди священник меня ласково погладил по головке и отпустил. Мы пошли в церковь. Она была богато обставленная и блестела позолотой и чистотой. Шла всенощная. Все помню ясно. Это была моя первая исповедь в жизни. На другой день мы ходили за три версты в пустыньку Серафима Саровского, где был источник и где Серафим Саровский, по преданию, провел 1000 дней и ночей на камне в молитве, видели и камень, весь источенный болящими богомольцами. По преданию, Серафим Саровский вырыл сам этот колодец, в этот колодец вела лесенка, и по ней мы спустились и купались. Вода была студеная и животворная.

Ездили из Сарова в Понетаевский монастырь, который был основан учеником Серафима Саровского — Тихоном, и который как-то отделился от Сарова. Об этом папа рассказывал мне. Храм был очень обширный, богатый, монахини пели прекрасно. На обратном пути мы остановились в деревне, нам вынесли большую кринку чудесного молока, и женщина певучим голосом рассказывала о многочисленных исцелениях у раки преподобного. Особенно много слепых исцелилось, по ее рассказам.

Так закончилась наша поездка в Саров, которую папа описал в своих работах.

* * *

<...> Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы. Помню, как она собирается с папой и старшей моей сестрой Алей в театр на «Рус-

лана и Людмилу». Я спрашиваю, что такое театр? А папа говорит, что будут показывать большую голову, мертвую, которая потом заговорит. Я думаю, что же они такие веселые, нарядные, а это так страшно! Мама в сером костюме, в шелковой белой блузке — такая красивая. Сестра в белом нарядном платье с искусственной розой, приколотой у пояса. А папа в сюртуке и очень важен и серьезен.

Мама озабочена, оставляет нас на няню Пашу, велит нам не шалить. Но как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра «в разбойники». Паша должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину, и нам, конечно, попадает. <...>

Квартиры в Петербурге у нас были большие, часто менялись, так как отец не переносил ремонтов в квартире, и поэтому, когда вставал вопрос о необходимости ремонта, — подыскивалась новая квартира, и мы вновь переезжали⁸. Так с 1899–1904 мы жили на Шпалерной улице, с 1905–1910 в Казачьем переулке. с 1910–1912 — на Звенигородской улице. с 1912–1916 на Коломенской улице. Тут на Кабинетной улице была гимназия Стоюниной, куда отдали остальных сестер, и где я потом кончила гимназию; с 1916–1917 мы жили на Шпалерной улице, д. 44, кв. 22, отсюда мы совсем покинули Петербург (в то время он именовался Петроградом) и переехали в Троице-Сергиев Посад, где уже началась совсем другая жизнь и где окончились дни отца, но об этом расскажу дальше...

У нас, как я говорила, в Петербурге было сначала 6 комнат, а затем 7. Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-й этаж дворник, белье большое приходила стирать прачка раз в месяц, маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Горничная должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонок, подавать к столу кушанья, мыть с кухаркой посуду; по утрам мести и вытирать пыль в комнатах; раз в месяц приходил полотер и натирал полы (папа этот день очень не любил и уходил из дому куда-нибудь); глаженье всего белья лежало на горничной. Когда мы подросли, няня Паша вышла замуж и ушла от нас; к нам приставили немок-бонн, но мы с ними не ладили, а потом, когда мама заболела в 1910 году, взяли тихую женщину, которая нас обшивала, разливала чай в столовой, гуляла с детьми, делала покупки и была в доме очень необходима. Ее звали Дом-

на Васильевна, фамилию не помню⁹. Она жила у нас вплоть до отъезда в Троице-Сергиев Посад.

Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав «Отче наш» и «Богородицу», шли здороваться с папой и мамой в спальню. Это время мы очень любили. Мы целовали у папы и мамы руку. Потом шли завтракать. В это время привозилось 4 бутылки молока из Царского Села, считалось, что там лучше молоко. Мы ели манную кашу, пили кофе с молоком и ели булку с маслом. Через полчаса вставали папа и мама со старшей сестрой Алей. Отец просматривал за кофеем газеты. Газеты выписывались «Новое время», «Русское слово» и «Колокол»¹⁰. Когда мы стали взрослыми, отец все равно не разрешал нам читать газеты. Говорил, что нам они не нужны, а что он как писатель обязан читать их, но что и ему они надоели. Любил читать на последней странице газеты — всякие страшные приключения, а полностью ни одной газеты не прочитывал. Мама газеты никогда не читала, кроме папиных статей, а сестра Аля любила читать журналы: «Русское богатство», а больше всего кадетский журнал «Русскую мысль»¹¹. За столом мы должны были сидеть тихо, перед едой креститься, съесть все, что поставлено на стол. Если мы капризничали за обедом и не ели что-нибудь, папа рассказывал о своей бедности в детстве и вспоминал, сколько есть на свете бедных детей, которые даже черный хлеб едят не досыта. Нам становилось стыдно, и мы принимались за еду. После завтрака мы шли в детскую играть, а мама лежала в спальне на кушетке, Аля тоже, у нее был порок сердца, и она была очень больная; последние годы она у нас не жила, а жила с подругой Натальей Аркадьевной Вальман¹² на отдельной квартире, на Песках. Обыкновенно, в час дня, подавался завтрак — котлеты или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубой, и в квартире водворялась полная тишина. Нас, детей, спешно одевали и отправляли гулять во всякую погоду: будь то снег или дождь. Гуляли мы большей частью в Таврическом саду. Помню там хромую, некрасивую девочку Асю, старше меня, которая меня полюбила и все за мной ходила, а мне она не нравилась, и я обращалась с ней холодно и пренебрежительно, и даже до сих пор в этом упрекаю я себя. Очень хорошо все это помню.

Летом мы часто гуляли в Летнем саду. Мама, не доверяя ни няне, ни бонне, часто приезжала на извозчике и украдкой смотрела, как мы играем.

Я очень не любила эти прогулки, — особенно зимой: мерзли руки и ноги, особенно, когда заставляли кататься на коньках. Но в наше старое время ослушаться не приходило и в голову.

В четыре часа папа просыпался, вставал, одевался и ехал в Эртелев переулок, в редакцию «Нового времени»¹³. Потолковать о новостях, узнать, как идут его статьи в газете, поболтать с сотрудниками. Близких друзей у него в редакции не было. Главного сотрудника газеты — Меньшикова — он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и галоши в любое время года, а также за статьи Меньшикова об аскетизме, считая их фальшивыми¹⁴. У Меньшикова был свой кабинет, у отца никогда не было. В редакцию отец всегда ездил на извозчике, для вида всегда торговался, — 15 или 20 копеек дать? Поговорит, посмеется и всегда даст больше. Отец очень любил шутить, болтать всякие пустяки, особенно с домашней прислугой, с извозчиками. Всегда расспросит: женат ли, сколько детей, отчего умерли родители, выслушает с интересом и прибавит от себя какое-нибудь утешительное наблюдение нравоучительного характера. Домашняя прислуга его очень любила и говорила: «Барин — добрый, а барыня — строгая».

Если папа не уезжал в редакцию, то в четыре часа пили чай, а если уезжал — то в шесть часов подавался обед, а чаю уже не пили. Отец не смел опоздать на обед. Мама очень сердилась, говорила, что труд прислуги надо беречь и приходиться вовремя. Папе очень попадало за опоздание к обеду. Когда мы были совсем маленькие, обед был в два часа дня, а в шесть часов — ужин. Помню, в зимние дни ждем мы папу из редакции. Звонок; горничная идет открывать парадную дверь, мы, дети, гурьбой бежим к отцу навстречу. Мы рады, что он пришел. Он пыхтит, шуба на нем тяжелая, на меху, барашковый воротник, руки у него покрасневшие от мороза, перчаток он не признает. «Это не дело, — говорил он, — ходить мужчине в перчатках». На ногах у него штиблеты и мелкие калоши. Лестница высокая, — 5 этаж, лифт когда работает, когда нет. Отец улыбается, целует нас, детей, идет в столовую, подают миску со щами или супом, валит пар, и счастливая семья, перекрестясь, дружно усаживается за стол. Как я любила эти моменты — так уютно, тепло было в столовой после мороза, папа за столом рассказывает всегда что-нибудь интересное. Обед состоял из трех блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом (часть мяса 1-го сорта). Мясо из супа обыкновенно ел только отец, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь,

утка или рябчики, судак с отварными яйцами; на третье или компот, или бже, или шарлотка; редко клюквенный кисель. После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать. Читал он в конце жизни мало, больше до середины книги, или с конца, — уставал. Много прочитал серьезных книг смолоду. В кабинете у отца стояла большая вертящаяся полка с книгами по богословию, сектантству, а на высоком стеллаже стояли старинные фолианты книг на латинском и других языках, энциклопедисты XVIII века. Он хотел после своей смерти пожертвовать в Костромскую городскую библиотеку, откуда был родом, но разруха в революцию не дала осуществить эту мечту, да, он с грустью говаривал: «Кто будет там читать, а я эти книги собирал, будучи бедным студентом, покупая на последние деньги у московских букинистов»¹⁵.

В трудное время сестра Надя продала их, не знаю, кому, потом я очень об этом сокрушалась. Была еще полка с русскими, старинными книгами: Херасковым, Сумароковым, Ломоносовым и Карамзиным, все в старинных, красивых переплетах. В кабинете у отца, на круглом столе красного дерева лежали хорошие книги по искусству. Были на полке у нас и чудесный журнал «Старые годы», и журнал «Столица и усадьба», «Русские Пропилеи», много книг с автографами Гершензона, Мережковского и других писателей. Библиотека не сохранилась. В голодные годы отец их продал в Троице-Сергиевом Посаде в книжный магазин Елова, и сестры во время голода потом тоже продавали книги. Последние, хорошие книги я продала в Государственный Литературный музей, там были и Гершензон, и с интересным автографом, — Вл. Соловьев: «Оправдание добра». Был у нас и весь Леонтьев, стоял на полке с книгами русских писателей-классиков: Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Гончаровым. Тургенев весь стоял в шкафу у сестры Али. В молодости я им зачитывалась.

Как я уже сказала, отца мы видели в основном только за столом. Он любил рассказывать всякие случаи из жизни, о бедствиях своего детства, страшной нищете и болезни бедной своей матери. Это он говорил, чтобы мы не капризничали и ценили нашу жизнь. Любил рассказывать страшные рассказы, читать Гоголя: «Страшную месть», «Вия», «Тараса Бульбу», читал Пушкина стихи и Лермонтова: «Анчар», «Три пальмы», «Выхожу один я на дорогу», а особенно «Ангела» Лермонтова. Мама его часто останавливала, говорила, что дети и без того очень нервные, — плохо спят. В беседах во взрослых отец часто критико-

вал школьное образование, а также либеральные статьи в газетах; приводил рассказы о простых, добрых людях, живущих просто и нравственно. Я очень любила эти папины беседы за столом, они были фундаментом, заложившим нравственную основу во мне на всю жизнь.

На Шпалерной улице, вечерами, мы сидели на подоконниках в столовой и смотрели в окна на Петропавловскую крепость, на Неву, на пароходики с зелеными и красными огоньками. Мы загадывали, какой из-за угла дома покажется пароходик — с зеленым или красным огоньком? И это нас очень увлекало. Об этом пишет в своих воспоминаниях и моя младшая сестренка Надя. Днем к нам редко приходили гости. Делалось исключение для Нестерова, Мережковских. Помню Зинаиду Гиппиус, жену Мережковского, всегда и зимой в белом платье и с рыжими распущенными волосами. Мама ее терпеть не могла, а мы, дети, посмеивались и считали сумасшедшей. Раза два бывала у нас жена Достоевского, Анна Григорьевна¹⁶, в черном шелковом платье, с наколкой на голове и лиловым цветком. Представительная, красивая, просила написать рецензию на роман дочери «Большая девушка»¹⁷. Но папа нашел роман бледным сколком с Достоевского и бездарным, и не написал рецензии. Жена Достоевского волновалась за дочь, жаловалась, что она ее замучила, и она хочет уйти в богадельню. Я тогда очень удивлялась этому.

Днем приходил Евгений Павлович Иванов, изредка бывала моя крестная мать — Ольга Ивановна Романова со своей дочерью Софьей, — папиной крестницей. По зимам, с мамой и со старшими детьми отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров¹⁸. Зимой на санках проезжали через Неву, красиво горели фонари на оснеженной, замерзшей Неве. Мы любили эти поездки. Старик Иван Федорович Романов, довольный, выходил к отцу навстречу, и лилась у них мирная и интересная беседа, а мы, женщины, говорили про свое житейское, обыденное.

Обыкновенно дети ложились спать в 9 часов вечера. Папа всегда приходил их крестить на ночь. Мама с сестрой ложились часов в 12, я же потихоньку зачитывалась допоздна.

Ночью папа обыкновенно или писал, или определял свои древние монеты, или же ходил по кабинету по диагонали и о чем-нибудь размышлял. Писем он писал мало и по крайней необходимости. Много курил. Папиросы он набивал сам табаком и клал в хорошенькую бордовую коробочку с монограммой «В. Р.», подаренную моему отцу падчерицей А. М. Бутягиной. Коробочка эта сохранилась и передана мною в Государственный литературный музей в Москве. Если в воскресенье, когда магазины табач-

ные закрыты, у отца не было папирос, то он был совершенно растерян и не мог работать.

Сын художника Н. Н. Ге¹⁹ бывал у нас днем. Помню, приходил всегда часа в четыре дня, очень молчаливый, небольшого роста, сидел за чайным столом, посидит и уйдет. Почему он к нам приходил — не знаю, что его связывало с отцом, так как папа никогда не любил художника Ге. В конце жизни в Петербурге к нам стал ездить Тигранов²⁰ с женой, чиновник какого-то министерства, любитель Вагнера, написавший книгу о Вагнере, кажется, интересную; бывал В. В. Андреев — балалаечник-музыкант²¹, с пожилой артисткой Мариинского театра. Она пела старинные романсы, которые папе нравились, а мы, дети, подсмеивались над стариками. Но все же это папу развлекало. После дела Бейлиса и исключения папы из Религиозно-философского общества²² у нас почти никто не бывал, и воскресные вечера как-то сами собой прекратились. А бывало, раньше, до 1910 года, в воскресенье собиралось у нас гостей человек до тридцати еженедельно, а особенно много было в мамины именины и в новый год в папины именины. Их справляли торжественно, с портвейном, вкусными закусками, дорогими шоколадными конфетами и тортами. Шампанское в нашей семье пили только в 12 часов под новый год. Помню, на этих вечерах бывал Валентин Александрович Тернавцев^{23*}, Иван Павлович Щербов^{24**} со своей красивейшей женой, священник Акимов²⁵, философ Столпнер²⁶, для которого специально ставился графин водки; из Москвы изредка наезжал Михаил Васильевич Нестеров²⁷, всегда в строгом черном сюртуке, молчаливый и спокойный, а мы как-то его все чтили и радовались ему. Незабвенный Евгений Павлович Иванов, друг Блока, — и много случайного народа всех толков и мастей; от монархистов до анархистов и богоискателей включительно. Говорили о литературе, живописи, текущих событиях, поднимались горячие споры. Мне было интересно. Младших сес-

* Тернавцев — чиновник Синода и член Религиозно-философского общества, очень умный человек, крестный моей младшей сестры Нади. После революции был выслан из Петрограда, жил в одном из провинциальных городов России, преподавал математику в школе. Умер в 1940 году. Написал толкование на Апокалипсис, подлинник которого не сохранился, но копия была сдана дочерью его в Ленинскую библиотеку (*Здесь и далее примечания, помещаемые внизу под текстом, принадлежат авторам публикуемых материалов*).

** Щербов — преподаватель Духовной Академии²⁸ Александро-Невской Лавры. О нем папа в книге своей писал: «Иван Павлович Щербов — всегда сонный, вялый, а жена у него красавица» (приблизительно тот смысл). Кажется, об этом есть в «Опавших листьях».

тер и братьев укладывали спать, иной раз, до прихода гостей, они выбегали в рубашонках в столовую, чтобы украдкой полакомиться вкусными вещами, за что им попадало.

Помню на этих вечерах Бердяева, а также архитектора, старичка Сулова²⁹. Он подарил папе интересную книгу по древнему зодчеству Севера. По рассказам папы, у него была молодая жена и много детей. Бывал он потом и со своей молодой хорошенькой женой. На этих вечерах у нас помню Петра Петровича Перцова — глуховатого, верного друга отца, образованнейшего человека своей эпохи, переведшего Тэна на русский язык³⁰ и написавшего много хороших критических статей по русской литературе; бывал и Сологуб³¹ со своей женой Чеботаревской, в черном кружевном платье; я ее помню. Она, бедная, в 1918 году покончила с собой, бросившись в Неву³², тело ее нашли весной и узнали только по кольцу на руке. Это мне рассказала жена писателя, — Надежда Григорьевна Чулкова³³.

В 1904 году, когда мы жили на Шпалерной улице, изредка бывала у нас чета Чулковых. Началась Японская война. Помню, у нас, детей, было два альбома и мы наклеивали туда вырезки из газет с изображением боев, Цусимской битвы, крепостей, генералов. Эти альбомы мы бережно сохраняли в нашей семье долгое время. В 1905 году меня отдали в пансион в Царском Селе, чтобы укрепить мое слабое здоровье, а также чтобы закалить меня, так как я росла любимицей в семье, и мама боялась, что выйду в жизнь слишком избалованным созданием.

Я просила мать отдать меня на воспитание крестной матери Романовой, но та отказалась, и меня отдали в пансион. Этот пансион был только что открыт по образцу английской школы и принадлежал некоей даме по фамилии Левицкая³⁴.

В этом пансионе девочки учились вместе с мальчиками. Он помещался в Царском Селе. Прекрасный воздух, парки, строгий режим — все это должно было укрепить мое здоровье. Программа была мужской гимназии с латинским языком. Меня туда привезли и оставили, я долго горько плакала и всех боялась, особенно мальчиков. Мальчики меня звали «мокрой курицей», и я этим очень огорчалась. Через две недели меня стали пускать домой на воскресенье, а если в чем-нибудь провинилась, то оставляли на воскресенье в школе. Но я обыкновенно ездила домой.

Папа и мама мои очень не любили лгать, особенно мама, поэтому она была очень привязана ко мне, потому что я тоже не могла сказать неправду.

Сестры же были большие фантазерки, и никогда нельзя было узнать, правду они говорят или придумывают. Мама с папой

очень верили мне и очень держались меня. Папа говорил: «Таня нас не бросит в старости», и случилось так, что оба умерли при мне; с папой еще очень, очень помогла Надюша, а мама умерла при мне, и до последней минуты я была с ней в больнице.

Вспоминаю свои приезды домой в зимние дни с субботы на воскресенье. Как я любила субботы! Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы об Ельце, о бабушке, о первом мамином муже. Милая мама, — больше всех в жизни ее любила, и она тем же отвечала мне. — К моему приезду всегда в вазочке стояли розы, было в комнате моей тщательно все убрано, и я весело проводила эти дни, а вечером, в воскресенье, возвращалась в школу Левицкой. Комнату мою мама запирала на ключ, чтобы сестры там не напроказили, и я была спокойна. Но вот, помнится, в марте месяце 1905 года вдруг перестали доходить письма от родителей, они тоже не приезжали ко мне, и нас не пускали домой. Поезда из Царского Села одно время в Петербург не ходили. Шепотом говорили, что революция в России...

В один из приездов, весной, я видела, как полиция с нагайками разгоняла толпу народа около Зимнего Дворца, и мы с няней убежали; затем волнения улеглись, но долго у нас дома были разговоры. Я напрягала свой детский ум, чтобы понять, что же произошло?

В 1905 году, летом, мы поехали за границу по окружному билету: Берлин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюрнберг, и мы сделали отклонение от маршрута и поехали в Нюрнберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестра Аля, Вера, Варя и я. А Васю и Надю оставили у знакомых Гофштетеров³⁵.

Берлин мне очень не понравился, — прямые скучные улицы, масса жандармов, очень везде строго и как-то скучно. Но когда мы приехали в Дрезден и Мюнхен — там меня все очаровало. Красивые парки, сады, яркое солнце, замечательные музеи. Помню Дрезденскую Сикстинскую Мадонну. Мы не выходили из музея допоздна, с утра до вечера посещая галереи, картины меня очень интересовали, и я со вниманием их рассматривала и многие из них до сих пор помню, хотя мне тогда было только десять лет.

Из Германии мы поехали в Швейцарию, сначала жили в Женеве, в гостинице, напротив был разбит сквер. Помню один случай, — и серьезный и комичный: сестры Вера и Варя устали от путешествий, им все надоело. Они решили сами прогуляться и

убежали из гостиницы. Мы очень испугались, что они потеряются, не зная языка, такие маленькие дети. Отец их догнал в саду и крайне рассерженный запер их в платяной шкаф. Слышу, Вера, встревоженная, шепчет, задыхаясь: «Вот скоро умру», а Варя ее утешает: «Не бойся, папа пожалеет и выпустит нас, он не даст нам задохнуться». Вспоминается и второй случай, когда я в сумерках, в горах убежала от родителей. Я обиделась на сестру Алю, что она не обращает на меня внимания и разговаривает с нашим знакомым Швидченко, который в Швейцарии сопровождал нас, любезно показывая разные достопримечательности.

Один раз в жизни испытала я жгучую ревность к сестре и убежала в горы, не помня себя. Были сумерки, родители сильно напугались, — я бы легко могла сорваться в пропасть. Это произвел столь сильное впечатление на Швидченко, что он много лет посылал мне открытки, уговаривая, чтобы я не была столь отчаянно-сумасбродной.

В Женеве мама сильно заболела, и мы перебрались в местечко Бе, в горах. Там мы прожили в пансионе три недели, ходили в горы, а мама лежала в гостинице. Из местечка Бе мы через Вену вернулись в Россию. Видели собор Св. Стефана, были в костеле, слушали поразительный орган, но сама Вена нам не понравилась, очень шумная, беспокойная и дорогая. Васе и Наде привезли много подарков, все были очень довольны, мама очень беспокоилась за младших детей, первый раз оставленных на чужие руки.

Поездку за границу я запомнила, привезла оттуда много открыток в видах Швейцарии, очень их берегла, но в 1943 году, при несчастном случае, их у меня выкрали.

В 1906 году мы ездили летом в Гатчину. Смутно запомнились дворец и зелень садов.

В 1907 году мы ездили летом всей семьей в Кисловодск. Мама болела, и врачи посоветовали лечение нарзаном.

Помню, как я смотрела из окна вагона на цепь невысоких гор. Я видела их впервые.

Отец нашел, по совету художника Нестерова, дачу, расположенную близ дачи художника Ярошенко³⁶.

Из Кисловодска мы ездили в Пятигорск: отец, сестра Аля (Александра Михайловна), Вера и я. Ходили смотреть место дуэли Лермонтова. Рассказ старожила Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным, о чем сказала моя сестра Аля. Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был упасть в пропасть и разбиться насмерть, так как пло-

щадь была небольшая, а он жил (по свидетельству биографов) еще некоторое время, хотя был без сознания.

Памятник же Лермонтову находился совсем в другом месте и был очень неудачный — в виде ограды из алебастра или мрамора.

Потом мы пошли смотреть домик Лермонтова, в котором он провел последние дни своей жизни. Одноэтажный домик стоял в саду, густо заросшем, тенистом. В самый домик нас не пустили, как я хорошо помню, а какой-то старичок повел нас в сад — уютный, где было много яблонь.

Я была очень печальна, мне было до слез жаль Лермонтова. Я сорвала несколько листков с яблони на память о нем, засушила их, и они долго хранились у меня.

Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, и что рассказ о последних его днях неясен. Отец выразил желание написать о домике Лермонтова и просить его сохранить для потомства, что он и сделал, написав статью в «Новом времени» в 1908 году об этом³⁷. На статью обратили внимание Академия Наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города.

Я очень любила Лермонтова. Первый классический стих, который я услышала от отца, был «Ангел» Лермонтова: «По небу полуночи Ангел летел и тихую песню он пел». Часто впоследствии отец мне читал наизусть стихи Лермонтова.

Помню, как отец подарил мне собрание сочинений Лермонтова в одном томе, в красном переплете. Первый рассказ попался мне «Тамань». Я прочла его, не отрывая глаз от страниц. С рассказа «Тамань» началось мое запойное чтение книг, особенно Лермонтова, а затем в юности Достоевского.

Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым.

Из кавказских впечатлений помню нашу поездку к подошве горы Эльбрус. В жизни впервые я увидела восход солнца, видела, как брызнули кровавые лучи солнца на белые снега Эльбруса. Зрелище это было незабываемое по своей красоте и значительности.

К концу лета приехала старшая дочь художника Нестерова — Ольга Михайловна. Портрет, написанный ее отцом, точен: стройная, красивая девушка с печальными глазами. Я любовалась ею, всюду следовала за ней по горам и не могла оторвать от нее влюбленных глаз. Осенью мы уехали из Кисловодска, а она еще там оставалась. Вот все, что я помню о Кавказе... да еще вспоминает-

ся один эпизод: как-то мои младшие сестры и братишка собрали исписанные открытки и решили их продать, а на вырученные деньги убежать из дому в горы. Отец их поймал и пребольно высек, пощадив лишь младшую сестренку Надю.

* * *

Поступив в школу Левицкой в 1904 году в приготовительный класс, я там проучилась до 5-го класса включительно, а затем держала экзамен в 6-й класс гимназии Стоюниной, выдержала и перешла туда учиться. В то время уже в гимназии Стоюниной училась моя вторая сестра Вера и младшая сестренка Надюша (по прозвищу «Пучок»).

Причина моего перехода в гимназию Стоюниной была та, что я не выдержала сурового режима школы и стала сильно болеть. В школе было очень холодно, здание школы было деревянное и плохое, во все щели дул ветер, временами зимой в дортуарах и классах было 5–7 градусов тепла. Мы мерзли, несмотря на теплую шерстяную одежду.

Учиться мне было трудно, так как я плохо усваивала задачи по арифметике с бассейнами и встречными поездами, а также трудно давался устный счет. Мучило меня и французское произношение, оно мне не давалось, и учитель дико на меня кричал.

Распорядок дня в школе Левицкой был следующий: будили нас в 7 ч. 30 м. утра, обливали в ванной комнате холодной водой, а меня, как нервную, обтирали губкой (врач запретил обливать меня холодной водой). Затем нас гнали гулять бегом, зимой и летом по улицам Царского Села полчаса, затем мы в столовой слушали общую молитву и садились завтракать. <...>

* * *

В 1908 году мы жили в Финляндии в местечке Лепенено, а в 1909 году в Луге³⁹.

Помню суровую природу Финляндии.

Уезжали мы всегда сразу после экзаменов с мамой, сестрой Алей и бонной Домной Васильевной. Летом у меня всегда были переэкзаменовки по арифметике, и это меня угнетало, но все же опять запоем читала, гуляла мало. Отец жил на нашей квартире в Петербурге, в Казачьем переулке, так как ему нужно было бывать в редакции, и он приезжал к нам в конце недели на воскресенье, всегда с какими-нибудь подарками. Мы очень ра-

довались его приезду. В воскресенье, ближе к осени, всегда ходили за грибами в лес. (Ранней весной иногда на дачу уезжала Домна Васильевна с Васей и Надей, младшими детьми, у которых еще не было экзаменов.)

Папа и я очень любили эти прогулки в лесу и собирание грибов и кричали: «Вот белый гриб, вот белый гриб», а брат Вася всегда набирал червивых грибов, над ним посмеивались сестры и безжалостно выбрасывали их из корзинки, чем он очень огорчался.

Дома тщательно разбирали, сортировали и жарили или мариновали грибы.

В конце лета обыкновенно набиралось больших стеклянных банок 12, их заливали воском и убирали на зиму.

* * *

Вспоминаю свою жизнь с родителями в Петербурге. Помню свою комнату, у меня была всегда отдельная комната, даже когда я училась в школе Левицкой, как я уже об этом говорила. В комнате стояла детская кровать, которая и до сих пор у меня — старинная с завитками на спинке кровати, каких теперь не делают, диван, шифоньерка с любимыми книгами и бельем, письменный дамский столик, зеркальный платяной шкаф, на стенах картины Беклина⁴⁰.

Сестра Вера имела тоже свою комнату, а Вася, Варя и Надя жили в детской с бонной.

Семья делилась на две половины. Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом далека, любила только младшую сестренку Надю, но она меня не любила. Так было в течение первого периода нашей жизни, а затем, перед смертью отца, года за три, отец очень сдружился с Надей, которая увлекалась античными мифами, даже экзаменовала его; а ко мне становился все дальше и дальше, потому что я интересовалась православием и аскезой. Как жалею теперь я об этом. В старости захватил меня древний мир, особенно Ассирия и Египет, о многом я сейчас бы расспросила отца, ближе и дороже становится он мне.

Теперь вернусь к рассказу о семье. Старшая же, сводная наша сестра Аля — А. М. Бутягина — нас всех объединяла своей любовью, заменяя нам больную мать. По вечерам мы приходили к ней, и она рассказывала нам чудесные сказки Андерсена, особенно мы любили «Дюймовочку» и сказку про «Снежную королеву», а также сказку народную про Иванушку-дурачка. Мы заслушивались и сказкой о Золушке. С нами Аля иногда ходила

гулять, много нам интересного рассказывала и была нам родной и близкой. Помню, как однажды пошли мы с ней на Марсово поле смотреть военный парад, было очень интересно и красиво. Но вдруг в конце парада один всадник упал с лошади, и мы видели, как вся остальная конница проехала по нему. Это было ужасно! Мы вне себя пришли домой и больше на парад никогда не ходили.

Вспоминаю своих родителей, вижу, насколько они были разные люди, несмотря на то, что они очень любили друг друга.

Мама была очень молчаливая, сдержанная и с оттенком некоторой суровости. Свои чувства она не любила выражать внешне, но любила отца самоотверженно, горячо, до самозабвения. Из детей она страстно любила меня, прямо боготворила и баловала очень сильно, а младшую мою сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была очень ей близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется. Надя вышла замуж за студента⁴¹. С ними в Ленинграде жили свекр и младшая сестренка мужа. Было материально очень трудно, квартира была большая, дров не было, но сестра все скрыла от меня, чтобы не расстраивать меня. В то время я лежала в больнице в Ховрино с осложнившимся ревматизмом.

Когда сестра Надя умерла в 1956 году, я из писем к ней матери только и узнала о настоящем положении дела.

В молодости сестры Вера и Варя своей анархичностью причиняли маме большие заботы и огорчения, она их совсем не понимала и была далека от них. <...>

Сестра Вера обожала отца, день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе. К матери же она была очень холодна.

Брат Вася помогал маме, бегал постоянно в аптеку за лекарствами — у нее часто бывали тяжелые сердечные приступы — и причинял мало забот, кроме того, что плохо учился, — писал с ошибками; был очень мягкий, добрый и тихий, а учење ему не давалось. Поэтому его отдали в Тенишевское училище⁴² — реальное, чтобы только ему не изучать в гимназии древних языков. Вася и Варя плохо учились. Вера — сносно, хотя уроков мало учила и читала запоем, как и я. Я же была очень старательная, но математика мне тоже давалась трудно, как и Наде, и я плакала над уроками. Отец, бывало, часто помогал мне в решении задач на краны и поезда: этих задач я никак понять не

могла. В старших классах, когда пошла логика, психология, история искусств и отпала математика, так как я была на гуманитарном отделении, то я училась на одни пятерки. Как я уже сказала, Вера и я читали запоем. Вася и Варя совсем не признавали книг. Варя мечтала о танцах и всяком веселии, Вася любил летом удить рыбу; есть очень интересные Васины письма о рыбной ловле. Мама всегда говорила: «Трудные мои дети. Маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы», и тяжело вздыхала.

Папа как-то не очень вникал в наши занятия, он только очень огорчался, когда я горько переживала свои неудачи. Отец полагал, что учат нас многим глупостям, и видя, что мы к науке неспособны, махал только рукой; огорчался только из-за Вари, которая приносила домой из школы одни только двойки и очень шалила за уроками, но сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только, как сидит на ней юбка и как завязан бант, и вертелась дома весь день перед зеркалом.

Мама обыкновенно лежала на диване *, требовала, чтобы все двери комнат были открыты, и наблюдала, что мы делаем в своих комнатах.

Читала мама мало и больше или акафисты — преподобному Сергию, Богородице, Иисусу Сладчайшему; читала также все папины статьи в газетах. Эти статьи прочитывала она очень внимательно и серьезно, часто папу останавливала, когда видела, что он уж очень резко выступает в печати, всегда говорила: «Вася, это ты нехорошо написал, слишком резко, — обидятся на тебя», или же «Слишком интимно пишешь о детях, это не надо в печать помещать». И большей частью отец слушал мать, выбрасывал целые куски написанного или даже не отдавал вовсе в печать. Папины книги она читала все, по нескольку раз от доски до доски и как-то интуитивно очень все понимала, хотя образования у нее не было, и писать она почти не умела.

А почему она не получила никакого образования, история этого такова: она жила со своей матерью Александрой Адриановной Рудневой в деревне Казаки⁴³; отец у нее умер. Там была двухклассная школа, в то время считалось, что девочкам из бедной семьи учиться не следует: мама как-то нашалила в школе, ей поставили по поведению 4, бабушка очень обиделась за дочь,

* Речь идет о том времени жизни в Петербурге, когда с Варварой Дмитриевной случился удар и частичный паралич, от которого она так и не оправилась.

значит, ее дочь опозорена за безнравственность, так она поняла, — и забрала ее домой — так она ничему и не научилась, особенно грамматика ей не давалась. Папа пробовал ее учить, но потом махнул рукой. Но зато дома она была очень хорошей хозяйкой, была очень аккуратной, старалась и нас приучать к порядку. <...>

* * *

В 1910 году летом мы всей семьей уехали в Малороссию, близ Полтавы, а родители вместе с начальницей школы, Еленой Сергеевной Левицкой, уехали в Германию, на курорт «Наугейм», так как мама все болела сердцем, а Елена Сергеевна — печенью. Лето мы провели очень хорошо, родители часто писали нам из-за границы (письма эти сохранились и находятся в Государственном литературном музее).

Помню, с дачи мы ездили в Киев. Сестра Аля, Вера и я. Были во Владимирском соборе, который на меня произвел сильное впечатление, особенно орнаменты Врубеля и «Рождество Богородицы» Нестерова. Нестеров был в молодости мой любимый художник.

Помню, что, живя в школе Левицкой и после, учась в Стоюнинской гимназии, я любила зимой и весной с отцом и сестрой Алей посещать выставки. Все весенние, осенние выставки художников-передвижников, а также выставки картин «Мира искусства» усердно нами посещались. Восторгали меня картины Левитана, Врубеля, Петрова-Водкина, Сарьяна, Рериха, художницы Гончаровой. Я подолгу ходила по залам, стараясь понять и запомнить картины.

Бывали мы с отцом и в Эрмитаже.

Была, помню, на концерте в консерватории, который давал замечательный пианист Гофман⁴⁴, прекрасное исполнение им «Рапсодии» Листа и «Франчески да Римини» Чайковского. Бывала и в операх, в Малом театре Суворина, там шли классические оперы, но в плохом исполнении. Впервые в оперу вводилась игра артистов, но голоса были неважные, и все было довольно безвкусно. Мы ходили в ложу Суворина, так как она обыкновенно пустовала. Один раз, помню, детьми нас повели в Мариинский театр смотреть балерину Павлову в балете «Спящая красавица». А также помню, как была в Мариинском театре на опере «Евгений Онегин» с певицей Кузе⁴⁵. Она была уже не молода, но все же насколько старые постановки «Евгения Онегина» лучше современных — другой дух, ближе к той эпохе.



Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру в Казачий переулочек⁴⁶. Мама с папой приехали раньше нас, чтобы убрать квартиру, а мы приехали с Украины через несколько дней. Помню, утром, на другой день, сидим мы за утренним чаем, за столом в столовой. Мама очень оживлена, много рассказывает о поездке за границу, о хороших тамошних порядках, о том, как она с папой ездила кататься с искусственных гор после своего лечения.

Все казалось благополучно, но у нас екало сердце, мы были удивлены: маму мы не узнавали, у нее было странное выражение лица и не свойственная ей говорливость. Мы, дети, притихли... Вдруг мама как будто поперхнулась чем-то и начала медленно на один бок сползать со стула... Мы страшно испугались, не понимая, в чем дело. Отец вскочил со стула, бросился к ней, думал, что она поперхнулась хлебом, неосторожно начал стучать ей по спине, давать глотать воду, но ничего не помогало, объяснить она ничего не могла, что с ней случилось, — язык у нее онемел.

Бросились за врачом, была ранняя осень, все знаменитые врачи были в отъезде, пришлось вызвать с лестницы случайного врача Райведа, и он сразу определил — паралич. Язык постепенно стал отходить, она стала говорить, но левая рука плохо поднималась, а правая нога двигалась и как-то волочилась по полу. Затем ее стали лечить известные петербургские врачи, но ничего не помогло, она осталась на всю жизнь наполовину парализованной; наша жизнь в корне изменилась, дома было очень мрачно, отец часто плакал. Мама мало говорила, ко всему стала безучастна, сидела в кожаном глубоком кресле или лежала на кушетке. Сама она ничего больше не могла делать, даже причесаться. Все должна была делать горничная или я, когда бывала дома. Хозяйство уже вела Домна Васильевна, она же разливала чай за столом.

В 1911 году летом мы с больной матерью, всей семьей уехали в Лугу, а в 1912 году на станцию Сиверская. Помню там только красноватые горы и помню, что готовилась к переходу в гимназию Стоюниной⁴⁷, где учились мои сестры Вера и Надя, так как мама к тому времени была уже больна неизлечимо. Суровый режим школы я не могла выдержать, и решено было взять меня из школы и поместить в гимназию Стоюниной, но для этого мне надо было готовиться к экзаменам, так как программы не совпадали, и я очень боялась экзаменов. В школе Левицкой была латынь и большая программа по математике, а здесь был уклон в

сторону естествознания, истории и географии. Пришлось все подгонять.

По русскому языку в гимназии Стоюниной был преподаватель Василий Васильевич Гиппиус (двоюродный брат Зинаиды Гиппиус)⁴⁸.

На вступительном экзамене он мне задал тему для сочинения «Образ Татьяны в “Евгении Онегине”». Я написала на четверку. С облегчением я вздохнула, что по русской грамматике не экзаменовали, в ней я тоже была слаба.

Стоюнинская гимназия была частная гимназия с либеральным оттенком и новыми веяниями в педагогике, с широкой программой и с индивидуальным подходом к детской душе. Там легко дышалось, были интересные лекции, особенно в старших классах. Я и Вера любили гимназию, а Надя ее боготворила.

Когда я была в шестом классе в гимназии Стоюниной, мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея. Осмотрели музей, который мне очень запомнился иконой Божьей Матери — работы художника Врубеля, и был весь как-то очень любовно устроен. Других картин не помню...

Ночью, разговаривая между собою обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке.

...Помню, ходили мы на Крещатик, смотрели памятник Владимиру Святому над Днепром, вновь посетили Владимирский собор; к сожалению, мы не осмотрели Софийский древний собор XII века, а чудесный Андреевский собор, где почивают мощи св. Варвары, — видели только издали... Были на могиле Аскольдовой над Днепром.

* * *

Друзьями Вас<илия> Вас<ильевича> я считаю П. А. Флоренского⁴⁹, который жил с семьей в Сергиевом Посаде, и Сергея Алексеевича Цветкова⁵⁰, который жил в Москве. Сергей Алексеевич Цветков уже после смерти В<асилия> В<асильевича>, в 1922 году, женился на Зое Михайловне. У них была дочка Ира, которая родилась еще до смерти моей мамы. Когда мама умерла, они принимали участие в похоронах. Зоя Михайловна только начала изучать английский язык, а впоследствии стала известным профессором, автором учебников по английской грамматике.

Когда я лежала в больнице в 1923 году, и мне делали операцию, она, несмотря на то, что была замучена жизнью, навещала меня, приносила вкусную еду. Они жили тогда неподалеку от Преображенской заставы.

С. А. Цветков издал рукопись Одоевского в 1913 году — «Русские ночи». Он был большой знаток русской литературы. Папа всегда считал его умным человеком. Он писал в «Опавших листьях» — кого считаю умнее себя, так это Флоренского и Цветкова⁵¹.

С. А. очень тонко умел подмечать разные стороны жизни, чувствовал маленьких людей, умел изображать их — у него был артистический дар, и он в молодости, как сам мне рассказывал, играл на сцене в любительских спектаклях. Он был из Тифлиса. Знания его были огромны. Где, что, когда и при каких обстоятельствах было написано — он все знал. Память у него была замечательная. Но здоровье у него было плохое, и поэтому он был в жизни вялый. В начале двадцатых годов он работал в какой-то научной библиотеке, затем ушел и всю жизнь был на пенсии. К тому времени у него уже была большая семья — трое девочек.

Я всегда, приезжая в Москву из Загорска, останавливалась у них. Зоя Михайловна всегда была на работе, я ее мало видала, а больше разговаривала с Сергеем Алексеевичем. Он мне советовал, какие книги читать. Он помог нам сдать архив отца Бонч-Бруевичу в Литературный музей. Тогда же были сданы 12 больших папок с вырезками статей папы из «Нового времени». Сохранились ли они — не знаю⁵². Жила я у них одно время, году в 1935, месяца четыре, я не могла устроиться на работу, они меня взяли к себе.

Таковыми же близкими, как Цветковы, были мне Воскресенские, семья доктора Воскресенского. Жили они при Сокольнической больнице, я у них часто жила, гуляла с их детьми, они мне всячески помогали. Александр Дмитриевич Воскресенский был известный в Москве детский врач, одно время был заведующий больницей. Затем его неизвестно за что арестовали, и он был в трудовых лагерях на Беломорканале. Через четыре года его вернули, и он опять работал при больнице. Умер он девяностю одного года, почти до последнего времени работая консультантом. Похоронен он на Немецком кладбище, там же, где его родственники. Был он домосед, немножко с чудачествами, с ярким живым языком, по характеру — бытовик, очень любил Лескова. Был он истово русский человек, любил все русское, был большой патриот.

Жена его по характеру была полной противоположностью своему мужу. Очень живая, общительная, предприимчивая, знает 12 языков, по-французски говорит лучше, чем по-русски. В одном муж и жена сходились. Они были очень отзывчивы к чужому горю и всем старались помочь. Замечательно чувствовала искусство Лидия Александровна, все красивое, интересное она стремилась выявить в жизни. Собрала прекрасную библиотеку по искусству. Дети ее сейчас уже работают в разных областях науки. Их семья была очень близка с семьей Фаворских⁵³, как родные.

Я же Фаворских знала издали, больше через своих друзей — Флоренских и Воскресенских. Помню только, как Владимир Андреевич Фаворский случайно встретился со мной на посмертной выставке моей сестры. Мы вместе ходили. Ему очень понравились иллюстрации к «Грозе» — Кабаниха — и Кай в «Снежной королеве»⁵⁴.

Лидия Александровна Воскресенская до сих пор мой самый близкий дорогой друг, так же, как и ее дочь Ника Александровна. В Петербурге близкими друзьями отца были Евгений Павлович Иванов и Валентин Александрович Тернавцев. Последний был крестным отцом моей сестры Нади и очень любил ее. Он бывал у нас днем, бывал и воскресными вечерами. Он принимал большое участие в Религиозно-философском обществе. Гиппиус отзывалась о нем, как об очень умном и интересном ораторе, нашедшем какой-то новый особый путь в понимании Нового Завета, отличный от Розанова и Флоренского. Впоследствии он писал работу «Толкование на Апокалипсис». Говорили, что это очень интересная работа, но я не пыталась о ней узнать, так как тема эта была мне чужда. Дочь его отдала черновик в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, а подлинник пропал.

Жена его, Марья Адамовна, у нас бывала редко, и мы у них редко бывали. Он был очень красивый, статный человек, веселый, похожий на итальянца. У них было трое сыновей и две дочери. Старший и младший сын погибли во время первой мировой войны, второй сын умер после революции от туберкулеза. Ирина Валентиновна была тогда замужем за сыном литератора Щеголева⁵⁵, а в настоящее время замужем за художником Альтманом⁵⁶. Приезжала она ко мне в гости до войны с Саррой Лебедевой⁵⁷, скульптором, и мы бродили по закоулкам Лавры.

Дети Валентина Александровича, Муся и Ирина, приходили к нам, детям, играть. Муся вспоминала, как я читала Гоголя «Вия» и «Страшную месть», так ей запомнилось это чтение, и она это чтение вспомнила, когда она меня увидела в последний

раз в гостях у сестры моей, Нади. Это было за несколько месяцев до ее трагической кончины.

* * *

Помню, как зимой в 1912 году однажды днем к нам приехала Айседора Дункан⁵⁸. После того, как папа дважды был на ее танцах и поместил отзыв о ней в газете, она приехала познакомиться с ним. Она была очень мила, говорила по-английски (при ней был переводчик), подарила отцу на прощание три фотографии; две из них с детьми, с надписью отцу (фотографии эти хранятся у подруги моей младшей сестры — Елены Дмитриевны Танненберг). Мы тогда все очень увлекались Дункан. Я, отец, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман* ходили в Мариинский театр смотреть ее танцы. Помню, она танцевала, передавая в своих танцах музыку Вагнера («Тангейзер») и Брамса. Мамы с нами не было, она уже никуда не выезжала и, больная, целыми днями сидела в кресле. Два раза по ее просьбе возили ее к чудотворной иконе «Всех скорбящих радости».

Вспоминаются наши проводы Айседоры Дункан на вокзале, когда она покидала Россию. Отец, я, Аля и Павел Александрович Флоренский, который в то время остановился у нас, поехали ее провожать. Отец хотел своему другу показать ее одухотворенное лицо.

Вскоре мы прочитали в газетах ужасное известие о трагической гибели ее детей в Париже при автомобильной катастрофе. С карточки смотрела на нас счастливая семья — мать и двое очаровательных детей.

В 1913 году, летом, родители поехали в Бессарабию, в имение Апостолопуло⁵⁹, близкого друга моих родителей.

Это была богатая помещица, очень образованная и культурная — она пригласила родителей моих к себе отдохнуть. Первый ее муж был преклонного возраста и очень богат. После смерти он оставил ей по завещанию громадное наследство, но только с условием, что она после его кончины не выйдет ни за кого замуж. Детей у нее не было, и она принуждена была жить в этом имении в одиночестве. У нее был управляющий имением, некий Драгоев, человек неумный, но добрый и очень ее любивший. По-

* Вальман — учительница немецкого языка в нашей семье и подруга сестры Али.

видимому, они были близки, но не гласно, поэтому у них никто не бывал, и это была очень невеселая жизнь. Драгоев всегда старался приумножить ее богатства, а когда не мог рожь продать по той цене, которую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев. Он очень настроил отца против евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев — во всех несчастьях русских он всецело стал винить евреев. В это лето отец мой написал книгу под названием «Сахарна» (так называлось поместье Апостолопуло), с выпадами против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков. Книга эта была сброшюрована, но в продажу не поступила, не успела, — началась война 1914 года, и ее не напечатали. В единственном экземпляре она хранится в Государственном литературном музее.

Летом 1913 года, когда родители жили в имении в Бессарабии, мать моя, по болезни, не могла себя обслуживать, и поэтому она вызвала к себе дочь Варю, чтобы та помогала ей одеваться и другое кое-что делать для нее, так как слуг в имении было мало, и все были всегда очень заняты по хозяйству, а маме было трудно одной. Варя была очень смелая и маленькой девочкой, совсем одна, приехала в Бессарабию. На станции ее встретили. Хозяйка ей очень понравилась, хотя и была очень строгой. Варя водила хороходы с деревенскими детьми и танцевала, что она так любила (в то время она еще училась в школе Левицкой). Мы же, все дети со старшей сестрой Александрой Михайловной Буत्याгиной и Натальей Аркадьевной Вальман и кухаркой Катей, которая была очень предана моей сестре, уехали на лето в Троице-Сергиев Посад (так как зимой сестра Аля с Наташей ездили туда и им очень понравился Сергиев Посад). П. А. Флоренский снял нам дачу около Вифанского монастыря, и мы туда переехали на лето.

Посещали церковь, ходили в тамошний музей — бывшие покои митрополита Платона, законоучителя Павла I и любимца и духовника императрицы Екатерины II. Почти все вещи в этих покоях были подарки государыни и представляли большую художественную и материальную ценность — портреты, хрусталь, книги. Сестра Аля удивлялась, как возможно такие ценности оставлять на попечение единственного сторожа-монаха *. Церковь была тоже очень интересная. В ней была устроена гора «Фавор» и были скульптурные изображения разных животных. Ни в одной церкви потом я ничего подобного не видела. Жаль очень, что не удалось сохранить до наших дней такую оригинальную постройку.

* В настоящее время они перевезены и расположены в Историко-художественном музее г. Загорска как предметы XVIII века.

На богатых монастырских тройках ездили в Троице-Сергиеву Лавру, часто бывали в семье Флоренских⁶⁰. Всегда были очень интересны и содержательны беседы Павла Александровича Флоренского. Он в то время служил по воскресеньям обедню в приходской церкви при Красном Кресте и профессорствовал в Духовной Академии, которая частью помещалась в «Царских покоях» Троице-Сергиевой Лавры.

Вспоминается, как однажды на дачу приехал извозчик и привез дородную пару: мужчину и женщину — это была чета Александровых⁶¹. Они были так толсты, что еле-еле помещались в пролетке, которая все время накренялась. Александров подарил нам свои глупые стихи, и мы долго забавлялись ими, сидя в кроватях по вечерам. Когда-то Александров был редактором «Русского обозрения», где у него сотрудничал мой отец, а после закрытия журнала переехал, по благословлению отца Амвросия, в Троице-Сергиев Посад и решил теперь возобновить с нами знакомство. Впоследствии его жена Евдокия Тарасовна оказывала нам серьезные услуги, но об этом будет рассказано после. Отец недолюбливал Анатолия Александровича, так как тот не выплачивал гонораров сотрудникам журнала.

Глава II

В 1913 году я уже училась в седьмом классе Стоюнинской гимназии. Окончила я семь классов на пятерки и четверки, но по химии была тройка, и потому серебряной медали я не получила и перешла в восьмой, дополнительный, педагогический класс. В этом классе мне было интересно и легко учиться. Логик и психологию у нас читал Николай Онуфриевич Лосский. Лекции по искусству читали с волшебным фонарем, слушалось и законоведение, мы давали пробные уроки в младших классах гимназии. Тут я легко и свободно кончила восьмой класс весьма удовлетворительными отметками по всем предметам. Помню выпускной вечер и помню то, что мне почему-то было очень грустно. Сестра Аля подарила мне две высокие зеленые вазы с большими букетами белой и лиловой сирени... Но, Боже, как было у меня беспокойно на душе!

Нужно было решать свою судьбу... а как это трудно, всем известно.

В 1913 году сестра Вера кончила гимназию Стоюниной, раньше меня на год. Последнее лето она ездила с гимназией в Соловецкий монастырь.

Эта поездка была решающей в ее жизни — Вера стала мечтать о монастыре. Вскоре она выбрала маленький монастырь — Воскресенско-Покровский — на станции Плюсса, близ Луги, где настоятельницей была мать Евфросиния, дочь известного общественного деятеля того времени — Арсеньева⁶².

Вера поступила туда послушницей и работала при кухне. Мы с мамой ее навещали. Она была очень довольна жизнью в монастыре, но заболела туберкулезом, и отец поместил ее в санаторий возле Петрограда.

Отец часто навещал ее в санатории, и я ездила однажды осенью, очень после этого простудилась и стала болеть невралгией. В санатории было тяжело. Вера томилась, да и плата была высокая, отец с трудом выплачивал ее.

* * *

В 1915 году передо мною встал вопрос, что же мне делать дальше. Я мечтала о поступлении на Высшие Бестужевские курсы на историко-филологический факультет по отделению филологии. В этом поддерживала меня и сестра Аля, она окончила курсы Раева. Отец был не очень доволен, он не любил ученых женщин. Во всей России было три высших учебных женских заведения. В Москве — курсы Герье, в Петрограде — Бестужевские курсы и частные курсы Раева, не дававшие права преподавать в гимназии. Из этого можно понять, как было трудно поступить. Но из гимназии Стоюниной с хорошими отметками принимали без экзаменов, и я поступила.

Шел 1915 год, второй год мировой войны. Помню бесконечные сходы студентов с обсуждением, следует ли жертвовать на войну или нет. Мнения расходились. Вспоминаю и другое, как одна курсистка спрашивала меня с удивлением, неужели есть такой образованный священник, который верит в Православную Церковь, и не могла поверить, что есть. Я пожалала плечами и отошла, что с ней мне было говорить. Я выросла в другой среде, в других понятиях.

Я увлекалась лекциями Лосского. Он читал тогда курс «Мир как целое». Я занималась у него на семинаре по предмету: «Введение в философию». Мне он дал такую тему: «Сила и материя» по Бюхнеру. Я разобрала его сочинения и сделала вывод, что Бюхнер жил раньше Канта, потому что после Канта он не мог бы сделать таких ошибок. Лосский засмеялся, поправил меня, но сочинением в целом остался доволен. Сдав экзамен по немец-

кому языку, я уехала одна жить в Троице-Сергиев Посад. От занятий и серьезного чтения, а также от тяжелой обстановки дома из-за болезни матери и удрученного состояния отца, я сильно разболелась. Врачи нашли у меня острое малокровие, запретили на год учиться и настаивали на перемене обстановки. Вот тогда я и уехала в Троице-Сергиев Посад.

В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились следующие события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь. Моего отца, Василия Васильевича по желанию Мережковского, Зинаиды Гиппиус и ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса⁶³ исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в «Новом времени» против евреев во время «дела Бейлиса». Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи, и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверские случаи. Отец же настаивал на своем и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность этого ритуального убийства. У отца был Талмуд, который был весь испещрен его заметками. После смерти родителей и раздела имущества Талмуд достался Варе, а потом А. Александрову, и куда он потом делся — неизвестно. Я наводила справки в Ленинской библиотеке, в Сергиевском историко-художественном музее, куда перешла часть вещей музейных Александровых после их кончины, но он не нашелся. Это было очень жаль, так как там были очень ценные заметки Василия Васильевича, о которых говорил мне Цветков С. А., но и он не мог отыскать Талмуда.

Из-за «дела Бейлиса» вся семья наша очень волновалась⁶⁴. Аля восстала против отчима и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где большинство было богатых евреев, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях? Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на религиозно-философском собрании, когда отца исключали...

После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов (поэт) и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который иначе думает, чем все.

Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова, который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским. Затем у нас появились но-

вые знакомые. В это время отец выпустил еще несколько правых книг, — стал писать в журнале «Вешние воды», так как в газете «Новое время» отца неохотно печатали. А. С. Суворина уже не было в живых, редактором был его сын Борис. Из редакции «Нового времени» отец всегда возвращался очень грустным и морально убитым. Он начал заметно стареть, болеть, и мы очень за него беспокоились.

В то же время бывали у нас: Голлербах, которому отец симпатизировал, а также редактор «Вешних вод» — некий Спасовский, которого невзлюбила моя сестра Александра Михайловна, бывала и друг сестры — Гедройц, талантливый хирург-женщина, сделавшая впервые трепанацию черепа. Она работала в лазарете в Царском Селе и приезжала иногда к нам. Она рассказывала нам, что государыня хочет мира, защищает немцев, а между тем мы знали, что Александра Федоровна получила воспитание при английском дворе и вовсе не была так привержена к немцам, но она видела, что война идет неудачно, очень много жертв, что мы не готовы к войне, и желала мира с Германией.

Все это было очень тяжело и страшно.

В 1915 году стали бывать у нас Барсукова Зинаида Ивановна со своим другом Высоцким, чиновником при каком-то министерстве, молодая чета Тиграновых. Он увлекался тогда Вагнером и выпустил о нем интересную книгу. В те же годы стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — я, отец и старшая сестра — к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой-матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собирал.

Года три тому назад приезжал в Загорск оркестр Осипова⁶⁶, и я узнала, что В. В. <Андреев> умер в 1919 году в Ленинграде от воспаления легких, простудившись на концерте, данном красноармейцам.

Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать.

Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Васильевича Андреева. Государем была отпущена субсидия, и дело продолжало развиваться, Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело и плохо жилось последние годы жизни, он старался его развлечь, приезжал со старушкой-певи-

цей Мариинского театра, которая под аккомпанемент Андреева на нашем плохом рояле пела старинные чувствительные романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались.

Продолжаю свой рассказ. Итак, в 1915–1916 годах я уехала в Троице-Сергиев Посад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно Троицкий собор, иконостас, хор из мальчиков в 40 человек; затем поездка в Зосимову пустынь, чтение летописи Дивеевской обители о Серафиме Саровском, а также чтение книги Флоренского «Столп и утверждение Истины» укрепили меня в вере.

Почти каждый день я ходила к ранней обедне. Война все продолжалась, с продовольствием становилось все хуже. Сестра Аля присылала мне 40 рублей ежемесячно, 20 рублей я платила за комнату в Рождественском переулке, а 20 рублей стоила еда. Одно время я столовалась в семье Флоренских и была очень благодарна им за это. Денег, конечно, они с меня не взяли. Жила я в той комнате в доме Горохова, в которой некогда жил иеромонах Иларион⁶⁷, впоследствии инспектор Духовной Академии, с которым дружил мой отец, а потом ставший епископом.

О его прилежных занятиях в Академии рассказывала мне моя квартирная хозяйка Горохова.

Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом и лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии. Вася еще служил в интендантстве армии, не кончив Тенишевское училище. Отец с матерью оставались с двумя сестрами моими — Варей и Надей в Петрограде. От мамы приходили печальные письма, и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством.

* * *

Приехав из Сергиева Посада домой в 1916 году, я побывала дома весной, а летом мы всей семьей уехали в Усикирки. Саму эту дачу я совсем не помню. Только вспоминается, как дважды бывал у нас Репин в гостях.

Первый раз помню, как Репин сидел за чайным столом и слушал внимательно рассказ сестры Али, приехавшей из деревни, о тяжелой доле крестьянской женщины; в другой раз вспоминаю, что отец и я провожали Илью Ефимовича с дачи, отец просит меня прочесть стихи Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Я читаю наизусть, краснея и волнуясь.

В то лето отец, сестра Аля и я ездили изредка по воскресеньям к Репиным на их дачу «Пенаты». Вспоминается жена Ре-

пина. Высокая, стройная женщина, но с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей бывало человек до 30, обед был вкусный и обильный, но без мяса.

Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л. Н. Толстого.

Бывали мы и в его мастерской, но там я ничего не запомнила.

Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, моя мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репиных). Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве⁶⁸.

* * *

Тоскливо протекала жизнь в семье в этот 1916 год: Варя и Надя еще учились в гимназиях (Надя в Стоюнинской, Варя в гимназии Оболенской), Вася был на фронте, папа много писал в газетах, но статьи плохо шли, старика Суворина уже не было в живых, редактором стал его сын Борис. Газета под влиянием событий на фронте левела, и отец был не к месту. Между прочим, статьи тех лет были интересные, с ними я познакомилась только в 1969 году, и меня они очень заинтересовали. Отец стал болеть, дома было очень мрачно, сестра Аля жила отдельно с Натальей Аркадьевной Вальман. С продовольствием становилось все хуже; с фронта приходили печальные вести, — мы то наступали, то отступали. Помню, взяли Перемышль. Помню торжественную манифестацию по этому поводу, огромные толпы народа с флагами, музыку и себя среди толпы, помню массу пленных австрийцев, которых провозили мимо Петрограда, и я с сестрой тоже ходила смотреть пленных; они были одеты неплохо и, видно, сами сдались охотно в плен, — наши женщины бросали им цветы...

Но вскоре все изменилось, — Перемышль был вновь отдан австрийцам, и мы все больше и больше отступали. Обстановка становилась мрачнее. Дума была закрыта, убит Распутин, шли зловещие толки об измене императрицы, народ волновался, приближалась революция. Пошел 1917 год, февраль месяц: в Петрограде стало трудно доставать хлеб, особенно белый, не хватало сахара, его отпускали в ограниченном количестве, продукты сильно дорожали. Народ обвинял во всем правительство... оче-

реди в магазинах были большие. В то время мы уже жили на Шпалерной улице в доме № 44, кв. 22 и могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы — тогда три дня к Петрограду не подвозили белого хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городовым, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял — нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко... Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя, что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбегали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был ни убит, ни ранен...

На Невском проспекте, ближе к Николаевскому вокзалу, где стоял памятник Александру III, было особеннолюдно... На набережной Невы народ собирался толпами, выступали ораторы. Кто был за кадетскую партию, кто за эсеров, а кто за большевиков. Дворец Кшесинской занял совет депутатов. На Выборгской стороне выступала на собраниях освобожденная из тюрьмы знаменитая Вера Фигнер, чей портрет многие годы стоял на письменном столе моей старшей сестры Али. Вера Фигнер была уже старуха, с седыми волосами, но представительная, одетая в прекрасный костюм и в дорогих лаковых туфлях. Я была на этом собрании. Она выступала с трибуны, но я с удивлением видела, что рабочие женщины не хотели ее слушать и выражались о ней с презрением. Роль ее была сыграна, и она больше не выступала. Так продолжалось в течение всей весны; помню: была с сестрой Алей на каком-то собрании, где председательствовал Керенский, и набирался из женщин «батальон смерти»; дамы забрасывали Керенского цветами, но он выглядел смешно, а его приказ № 1 привел к полной дезорганизации армии. Солдаты убегали с фронта и из-за полы торговали, кто махоркой, кто буханками черного хлеба. Вернулся с фронта и брат Вася и жил без дела; в Тенишевское училище он не пошел. В феврале произошел переворот, царская семья была арестована и вместе с царем находилась под стражей. К Петрограду подступали немцы. Летом 1917 года сестра Надя уехала к своей подруге Лиде Хохловой в их имение, а Варя с гимназией Оболенской — работать на огородах в деревню. Я же решила ехать в деревню устраивать ясли от Бестужевских курсов, где я еще числилась слушательницей. Меня очень интересовала деревня, я помнила деревню только по «Казакам»,

куда меня возили родители 5-летней девочкой к бабушке. И вот мы — студенты Бестужевских курсов — в Рязанской губернии. <...>

Ранней осенью 1917 года я вернулась из Рязанской губернии, приехали и Варя с Надей, и было на семейном совете решено уезжать из Петрограда. Редакция «Новое время» закрывалась в Петрограде и эвакуировалась вместе с Государственным банком в Нижний Новгород. В Государственный банк на хранение отец отдал золотые монеты из своей коллекции, а три самых любимых завернул в бумажку, положил в кошелек и постоянно ими любовался⁶⁹. Было послано письмо Флоренскому с просьбой подыскать нам квартиру, и когда мы получили известие, что квартира найдена, мы спешно стали собираться в Троице-Сергиев Посад. Ликвидировав квартиру, мы поехали прощаться с Барсуковой Зинаидой Ивановной и Высоцким, а также с Ивановыми — им я подарила свой зеркальный платяной шкаф и письменный дамский столик, а также чудную книжечку «Рассказы странника об Иисусовой молитве»⁷⁰. Папа с мамой были убиты горем, мы же, дети, ничего не понимали, радовались перемене жизни и уехали очень беззаботно, сестры только жалели гимназию, а мне было жаль сестру Алю, которая не решилась ехать с нами и оставалась в Петрограде вместе со своей подругой Натальей Аркадьевной Вальман. Я радовалась еще очень, что мы едем в Троице-Сергиев Посад и будем ходить в Лавру к Флоренским.

Осенью⁷¹ мы переехали в Сергиев Посад, на Красюковку, на Полевую улицу в дом священника Беляева⁷², который у него арендовали. Дом был большой, низ каменный, верх деревянный. Внизу помещалась большая комната — столовая, сырая, с зелеными пятнами по углам. К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама готовила обед для всей нашей семьи со старухой-нищенкой. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, соль, мука, морковь и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная, хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считалось уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она была такая сладкая, что с трудом ели. Да

через день брали три крынки хорошего густого топленого молока у соседей — трех старушек. Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими. Особенно помнится мне моя мама, ее печальные глаза, как-то они словно застыли в испуге и немом горе. Помню всю ее худенькую фигурку, маленькие слабые руки, маленькие ножки. Вся она передо мной стоит, как живая, с немым укором, а ведь прошло с ее кончины ровно 46 лет.

Нас в семье сначала было шесть человек — папа, мама, я, Варя, Вася и Надя. Сестра Аля, как я уже сказала, оставалась в Петрограде, а Вера жила послушницей в Покровском монастыре на станции Плюсса около Луги.

Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали.

* * *

Стали носиться слухи, что немцы подходят к Петрограду. А у нас вся библиотека отца и рукописи его были оставлены на хранение в Александро-Невской Лавре у профессора Академии Зорина⁷³. Александровы дали нам займы 200 рублей денег, чтобы я ехала и перевезла оставшееся имущество в Троице-Сергиев Посад. Помню, как Евдокия Тарасовна Александрова научила меня, как перевезти такое количество вещей. Она сказала, что нужно дать три рубля весовщику товарной станции, и он даст целый вагон. Я так и сделала. Это была во всю мою жизнь единственная взятка, которую я сумела дать. Были перевезены и полки с книгами и рукописи отца. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда⁷⁴ — Пушкин, гипсовый слепок с головы Страхова и еще кое-какие вещи. Но все же мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи.

Вскоре после возвращения моего из Петрограда произошла Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Троицком Посаде переход к новой власти не вызвал резких эксцессов и все произошло сравнительно спокойно.

Уже в 1918 году мне удалось, научившись печатать на машинке, устроиться на работу машинисткой в комиссию по охране Троице-Сергиевой Лавры. Председателем этой комиссии был Бондаренко, изредка приезжавший из Москвы, его заместителем — Юрий Александрович Олсуфьев⁷⁵, известный искусствовед и крупный специалист по древним иконам. Канцелярия состояла из секретаря — Мансурова Сергея Павловича⁷⁶, родственника Олсуфьева, и меня — машинистки.

Канцелярия наша находилась сначала в митрополичьих покоех, а затем была переведена в одно из Лаврских зданий, у входа в Лавру.

В качестве научных сотрудников были еще приглашены Павел Александрович Флоренский — ученым секретарем, через некоторое время — Соколов Владимир Иванович, художник для оформления плакатов, и художник Боскин для инвентаризации ценностей, позднее — Михаил Владимирович Шик⁷⁷ в качестве научного сотрудника. Была организована реставрационная мастерская шитья, где работали три женщины, во главе стояла Александра Николаевна Дольник, командированная из Москвы. Она бывала наездами. При комиссии находился комиссар из исполкома, который должен был наблюдать за исполнением правительственных распоряжений.

Я ходила на работу каждый день с 9-ти до 4-х. Дома оставалась младшая сестра Надя; сестры Варя и Надя и брат Вася не могли никуда устроиться на работу, потому что работа была только в исполкоме и на почте, а также были кустарные работы, которых мы не знали, и нас бы никто не взял. Варя и Надя еще не кончили гимназии в то время. Старшая сестра Аля вызвала их в Петроград, надеясь, что они там окончат гимназию. Они действительно окончили ее в 1918 году при страшном голоде. Брат Вася уехал спасаться от голода на Украину к маминому брату, дяде Тише Рудневу, который был прокурором 6-ой палаты г. Полтавы⁷⁸.

В 1918 году сестры вернулись из Петрограда, окончив гимназию, а до того мы оставались втроем — папа, мама и я. Брат Вася, вернувшись с Украины, звал нас туда, но мы не решились ехать. Жили продажей вещей, мебели, книг, изредка кто-нибудь присылал продукты. Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко. Кое-какую одежду, более нарядную, тоже меняли на продукты в деревне. Был такой старичок, который этим занимался, очень хозяйственный, красивый, он хорошо к нам относился и с риском для себя при-

возил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали.

Однажды, когда мы зимой уже совершенно замерзали, нам неизвестный железнодорожник Новиков прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь. Этот случай не забудется на всю жизнь.

Капусту, я помню, нам выдавали из каких-то организаций, мы стояли за ней в очереди, несколько раз Варя ездила за мукой в деревню, дважды в один день попала в крушение поезда, но спаслась, отделавшись только испугом. Брат Вася уговорил Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина⁷⁹. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу, и через три дня он скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же, на городском кладбище, его и похоронили. Об этом сообщил нам Лутохин, так как сестра Варя, не дождавшись исхода болезни Васи, вынуждена была спешно уехать из Курска, — граница закрывалась и на Украине устанавливалась новая власть. Варя долго не знала о смерти брата, и мы ничего о ней не знали, не знали даже, жива ли она? После, когда началась переписка, сестра Варя очень огорчилась смертью брата, но написала нам, по своему обыкновению, оптимистическое письмо. В начале письма она описывает его заболевание и как она его устраивала в больницу, и как ей необходимо было уезжать, так как ей в Курске жить было негде, и денег на прожитье не было.

Вот это письмо (подлинник находится в Государственном литературном музее), собственно, конец письма, столь для нее характерный:

«Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в этот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте.

Вообще падать духом никогда нельзя. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все.

Жизнь меня очень закалила. И ко всяким фанабериям и “мистике” (это в огород старших сестер) я отношусь крайне отрицательно...»

Вестей от Вари опять долго не было. На Украине власть переходила из рук в руки. Мы остались вчетвером. Отец, мать, Надя и я. С Надей мы жили дружно и хорошо. Часто ходили в церковь и в Гефсиманский скит (в трех верстах от Сергиева Посада). Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен смертью сына. Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына как след-

ствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти сына, считал себя виновным, что отпустил Васю легко одетым, почти без денег и что раньше легко отпустил Васю на фронт. Вася не кончил Тенишевского училища и привык уже к кочевой жизни.

Отец страшно изменился после его смерти, и единственное его утешение было — дружба с П. А. Флоренским и Олсуфьевым.

Два факта — смерть сына и потеря самых любимых монет, с которыми он никогда в жизни не расставался, вечно любуясь на них, сильно на него подействовали. Потерял он эти золотые монеты, когда ездил в Москву и на вокзале заснул; предполагали, что у него вытащили их из кармана, а возможно, он их и потерял.

* * *

Папа был очень слаб, но видя, как мы надрываемся, качая воду в колодце, изредка помогал нам. Делать этого ему было нелзя.

Отец очень любил также париться в бане, что ему тоже запрещали врачи, но он врачей вообще не слушался, запрещали ему курить — все курил. Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, — он упал в канаву, недалеко от нашего дома, и уже его кто-то на дороге опознал и принес домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх — своей меховой шубой — он сильно все время мерз. Говорить почти не мог, лежал тихо, иногда курил.

В то время старушки, которая готовила обед, уже не было, варила обед Надя и ухаживала за папой, а также мама много помогала и дежурила у папиной постели. К отцу звали священника, отца Александра⁸⁰, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедовал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замечательно читал акафист Божьей Матери «Утоли моя печали». Отец мой слушал, как он читает акафист, когда со мною и Надей ходил служить в 40-й день панихиду по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: «С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божьей Матери».

За время болезни отца его часто навещала Софья Владимировна Олсуфьева⁸¹ и Павел Александрович Флоренский. Приезжал из Москвы старый друг отца по университету, Вознесенский⁸², привозил ему какие-то деньги от Гершензона. Он же

присутствовал, когда мы позвали отца Павла Милославина из Рождественской церкви папу пособоровать, тут же была и С. В. Олсуфьева, молились все усердно, и папе стало лучше, но потом опять сделалось хуже, но он все же так не метался в тоске, как иногда с ним было, до соборования.

С папой, как я говорила, была мама неотлучно, а я весь день была на работе, а потом сразу же шла что-нибудь менять на хлеб.

В то время несколько раз присылали нам деньги — отец протоиерей Устьянский, папин друг, Мережковские и Горький⁸³. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: «Холодно, холодно, холодно», и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой тяжелой шубой.

Незадолго до своей смерти он просил сестру Надю под его диктовку написать несколько писем и послать друзьям. <...>

Описание последних дней моего отца в Троице-Сергиевом Посаде и его смерть

Отцу становилось все хуже и хуже. За несколько дней до смерти отец попросил сестру Надю написать под его диктовку отчаянные письма друзьям, и в них не было преувеличения.

Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь, и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем.

После моих именин отцу стало еще хуже. Он просил Надю написать бывшим друзьям — Бенуа, Мережковским, обращение к евреям. Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла. Как-то я его спросила: «Папа, ты отказался бы от своих книг “Темный Лик” и “Люди лунного света”?». Но он ответил, что нет, он считает, что что-то в этих книгах есть верное, несмотря на то, что он был настроен в последнее время по-христиански и казался верным сыном Православной русской церкви.

В ночь с 22 на 23 января 1919 года старого стиля (5 февраля н. с.) отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде: «Беги за священником». Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться, тогда она побежала в Рождественский переулок, к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришел П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки Сергия Преподобного плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг, 23 января старого стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.

Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего дома. Отпевали его три иерея: священник Соловьев, очень добрый, простой, сердечный батюшка, Павел Александрович Флоренский и инспектор Духовной Академии, архимандрит Иларион, будущий епископ, впоследствии он был сослан и по дороге в ссылку скончался в больнице. Отец при жизни часто у него бывал, они дружили.

Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу друга моего отца.

Свезли отца на дровнях, покрытых елочками, на кладбище в Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном. Мама на кладбище не ходила, она оставалась дома. <...>

Мама со смертью отца очень изменилась, очень ослабела, у нее опухли ноги, и она не могла почти ходить. У нее стало какое-то остановившееся, притупленное выражение лица, как будто она уже более не могла выносить горя. Она уже ни во что в хозяйстве не вмешивалась и ни на что не реагировала, все взяли в руки мы с сестрой. <...>

Еще несколько строк об отце и его работах

<...> Мне бы хотелось, говоря об отце, описать его внешность, насколько я могу. Отец был невысокого роста, с узкими плечами, с довольно пропорциональной формой головы по отношению ко всей фигуре, лоб у него был очень большой, а на лице

выделялся очень острый взгляд глубоко сидящих карих глаз с зеленоватым оттенком, смотрящих как бы и пристально, и вместе с тем как-то рассеянно на мир. У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием, с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям и как бы созданные для творческой писательской работы. Он сам писал в одной из своих книг, что прирожденный талант писателя сидит в кончиках пальцев (приблизительно так он выразился). Ноги у него были небольшие, сам он был очень живой и юркий, говорил всегда как бы про себя — скороговоркой и часто в шутливом тоне, а если о чем-нибудь спорил, то всегда сердито, раздраженно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убежал. Он был вообще очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем не было. Воспитанным человеком он не был. Это была бурная стихия, вне всякой литературы и формы. Но зато когда он писал, форма была ему присуща ранее того, чем он ее выразил на бумаге. В этом был залог особенностей его слога, на который обращали внимание все, писавшие о нем, считая, что в этом была его гениальность. Даже в начале революции некоторые писатели полагали целесообразным открыть при Брюсовском институте слова отделение литературы, изучающее его стиль. Все сказанное о языке относится *ко второму периоду его деятельности*, когда он сблизился с Мережковскими и другими литераторами и начал печататься в журналах «Мир искусства», «Весы», «Новый путь», издаваемый П. П. Перцовым, а позднее — в «Золотом руне». Тут-то он и выработал свой художественный язык, столь отличный от других писателей. <...>

Как он работал? Он никогда не исправлял что напишет. Он писал сразу набело, мелким бисерным почерком. Прочсть его работу мог только один метранпаж в «Новом времени», которого держал Суворин специально для Розанова. Поэтому рукописей у него сохранилось не так много, как у других писателей, так как я предполагаю, что не все рукописи отца возвращались из типографии. Перерабатывать свою статью он органически не мог и отказывался. А если в редакции не нравились его статьи, то он писал совершенно новую... Переписывать свои статьи он отказывался, боясь ошибок по своей рассеянности. Поэтому он иногда варварски поступал: вырезал из книг нужные ему цитаты. А если приводил их на память, то обыкновенно перевирал, в чем его часто упрекали. Но это не было следствием небрежности. Некоторые статьи по политическим причинам не проходили

в «Новом времени». Василию Васильевичу было жаль своей не-напечатанной статьи, и он посылал ее в Москву в «Русское слово» и другие газеты под разными псевдонимами: «Варварин», «Ибис», «Старожил», «Обыватель» и др.⁸⁴ Почему он печатал под псевдонимами? Потому что он по договору с Сувориным не имел права печатать свои статьи в других газетах, так как состоял на жаловании в «Новом времени» и, кроме оплаты статей, он получал построчно. Но его интересовала не только денежная сторона, но и желание часто выразить свои мысли в более либеральном духе, что не допускало «Новое время». Суворин это знал, но смотрел на это сквозь пальцы. Вся же остальная пресса подняла невероятную шумиху вокруг этого дела. Называли отца Иудушкой, предателем и всячески его поносили. А я считала и считаю, что это было хорошо. Он был шире и правого «Нового времени» и «Гражданина», а также левой либеральной газеты «Русское слово» и кадетской «Речи».

Теперь будем говорить о его философских взглядах и политических взглядах на разных этапах его творчества. Начал он свою литературную деятельность под влиянием Страхова, Леонтьева и Данилевского⁸⁵, бывал он на литературных вечерах Николая Николаевича Страхова. Он был консервативно настроен, религиозен, но без всякого фанатизма. С церковью же его разъединял факт его незаконного брака с моей матерью, но тут еще не выявилось его резкое отношение к церкви, но он очень страдал. На этом этапе волновали его вопросы школы, так как до этого времени он многие годы был учителем и знал трагедию в постановке школьного дела. Незадолго до этого он выпустил книгу «Сумерки просвещения»⁸⁶. Книга чрезвычайно интересная, на мой взгляд, но написанная еще тяжелым языком, на что Страхов указывал и учил его писать вообще короче и яснее. Несколько позднее он встречается с Перцовым, издает книги «Религия и культура», «Природа и история». В 1901 году он сближается с Мережковским, с Гиппиус, Бакстом⁸⁷, несколько раз на вечерах бывал у нас и Дягилев, приходил Бердяев, Вячеслав Иванов. Он пишет статьи по искусству, о художниках и выставках. Этот период считается расцветом его творчества, он тут наиболее признаваем, его начинают провозглашать гением и сравнивать с Ницше. Отец всегда смеялся: «Какой же я Ницше! Во мне ничего демонического нет». Вскоре Василий Васильевич выпускает книгу «В темных религиозных лучах». Эта книга была запрещена и уничтожена. Один уцелевший экземпляр этой книги был передан уже после революции в Государственную библиотеку им. Ленина. В этой книге была критика христианства и разби-

рался вопрос о связи религии с полом. Мережковский превозносил эту книгу. Отсюда началась его дружба с Мережковскими⁸⁸, а также положено было начало организации Религиозно-философского общества, где было стремление сблизить духовенство с интеллигенцией. К этому времени отцом была выпущена вторая книга, состоящая из двух частей. Первая книга «Темный Лик», а вторая книга — «Люди лунного света». Эту книгу цензура пропустила, а она, между прочим, менее интересна, чем первая, запрещенная «В темных религиозных лучах», но в ней более завуалирована главная идея о связи религии с полом и потому она была пропущена цензурой. В нашей семье очень не любили эту книгу, ни мама, ни я, ни старшая сестра, а Мережковские торжествовали, но отцу это было неприятно. Назревал какой-то надлом. Мама же очень не любила Мережковских и недовольна была сближением отца с ними, считала это удалением от церкви отца и очень волновалась. Приблизительно в это же время отец выпустил книгу в двух томах под названием «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903), собрав огромный материал по бракоразводному делу, опять пытался через чиновника Синода Тернавцева получить развод от Суловой, но все это было бесполезно, она не дала развода. Но эти его работы оказали влияние на новое законодательство, облегчающее бракоразводные дела. Отец рассказывал, что были случаи, когда сумасшедшего мужа заставляли жить с нормальной женой и обратно. В то же приблизительно время он подает на высочайшее имя государю просьбу об узаконении его пятерых детей, указывая на то, что он не принадлежит к потомственному дворянству, а получил личное дворянство по окончании высшего образования. Мы были узаконены и получили отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неизменным, поэтому отец, когда писал «Опавшие листья» и «Уединенное», называл мать «другом» — он не мог назвать ее официально женой. <...>

Будем же теперь говорить более подробно о политических его убеждениях. Первый период его жизни, когда был жив еще Страхов, он был спокойно-консервативно настроенный человек. При сближении с Мережковскими он начал незаметно леветь, а в 1904–1905 годах он поддался общему революционному настроению общества, так как сам прожил трудную жизнь, знал нищету и голод и с этой стороны сочувствовал бедному человеку. Отсюда вытекли его статьи, окрашенные революционным духом, которые затем вошли в его книгу «Когда начальство ушло» (СПб., 1910). Но это был недолгий период в его жизни. Затем он очнулся, посмотрел вокруг себя, увидел богатую, сытую кадетскую

прессу, самодовольную и очень далекую от народных нужд, и повернул вспять. В это время он дважды издал книгу «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову». Второе издание вышло в 1913 году (СПб)⁸⁹. В это время мать моя продолжала сильно болеть. Летом отец с матерью уехали в Бессарабию в имение Апостолопуло к своим друзьям: отец в очень плохом душевном состоянии, мать больная, отец дружит с самой помещицей, которая настроена крайне консервативно и враждебно к евреям, также как и ее друг. Они указывали отцу на эксплуатацию помещиков евреями и скупку ими по дешевым ценам хлеба у помещиков. Вот тут начинается поворот отца от интереса его к иудаизму к сугубо национальным русским интересам. Здесь он пишет книгу под названием «Сахарна» (так называлось их имение), подготавливает ее к печати, но начинается война 1914 года, и книга не появляется в печати⁹⁰. Единственный сброшюрованный экземпляр был передан в 50-х годах в Государств<енный> литературный музей. Книга была местами очень интересная, в ней были оригинальные афоризмы, но в целом очень мне не нравилась.

В это же примерно время началось крупное дело Бейлиса, в обсуждении которого приняла участие как русская пресса, так и западная. Обсуждался вопрос — возможно ли ритуальное убийство в наш цивилизованный двадцатый век? Общество разделилось. Розанов и очень немногие утверждали, что возможно, большинство же отрицало это. В это время, озлобленно настроенный, мой отец выпустил очень резкие брошюры и книги против евреев, что заставило Религиозно-философское общество отмежеваться от него и исключить его из членов этого общества. Этот поступок отца был для него роковым. Он остался почти в одиночестве и замкнулся в себя. Статьи его почти перестали печатать, и положение его резко изменилось. Тут началась война 1914 года, отец писал приподнято-патриотические статьи, печатал их в газете, а потом включил их в книгу «Война 1914 года и русское возрождение» (Петроград, 1915). Там было очень много интересных страниц, но в целом она, может быть, звучала и неверно.

В 1915 и 1916 годах жизнь была тяжелая и материально, и морально в нашей семье. В 1916–1917 годах отец мой стал издавать по выпускам книгу «Из восточных мотивов», посвященную древнему Египту (вышло три выпуска, четвертый был подготовлен). Еще задолго до издания он просиживал многие часы в Эрмитаже, срисовывая древнеегипетские изображения⁹¹. У него составилась огромный альбом с этими рисунками, который в 1947 году, после смерти отца, Сергей Алексеевич Цветков продал для нас, кажется, в б<иблите>ку им. Ленина, — не помню

точно. Выпуски эти печатались на роскошной бумаге верже, которую отец закупил для издательства «Сириус» и надеялся издать большую работу. Он сделать этого не смог. Наступила революция и отец продал эту бумагу известному издателю Сабашникову.

В 1917 году, в сентябре месяце, мы, как я уже говорила, по семейному совету, переехали в Троице-Сергиев Посад, где отец прожил недолго, всего два года, и умер в 1919 году 23 января (по старому стилю), 5 февраля по н. с., как указывала З. Гиппиус в своих работах, изданных за границей. За время жизни в Троице-Сергиевом Посаде отец издал в десяти выпусках «Апокалипсис нашего времени» у местного издателя Елова. Книга эта была запрещена и уничтожена.

